# МИРЧА ЭЛИАДЕ

## *У цыганок*

НОВЕЛЛА

*Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ*

В раскаленном трамвае было нечем дышать. Торопливо продвигаясь по проходу, он сказал себе: «Гаврилеску, тебе везет!» — в другом конце вагона у открытого окна оказалось свободное место. Он уселся, вытащил платок и долго утирал лоб и щеки. Потом засунул платок за воротник, обернул им шею и принялся обмахиваться соломенной шляпой. Старик, сидевший напротив, внимательно его разглядывал, будто силился вспомнить, где они встречались. На коленях у старика покоилась жестяная коробка.

— Ну и жарища! — обратился он вдруг к Гаврилеску.— Этакого пекла с тысяча девятьсот пятого года не было!..

Гаврилеску, продолжая обмахиваться шляпой, кивнул.

— В самом деле жарко. Но образованный человек все переносит легче. Вот, например, полковник Лоуренс. Вы что-нибудь знаете о полковнике Лоуренсе?

— Нет.

— Жаль. Я тоже мало о нем знаю. Войди он сейчас в трамвай, непременно пристал бы к нему с расспросами. Люблю побеседовать с образованными людьми. Надо думать, милостивый государь, те юноши были студентами. Студентами, весьма преуспевшими в науках. Мы вместе ждали трамвая, и я слышал их разговоры. Они говорили о некоем полковнике Лоуренсе и о его приключениях в Аравийской пустыне. Какая же у них память! Целые страницы из книги этого полковника читали наизусть. Одна фраза мне особенно понравилась, прекрасная фраза — о зное, которым встретила полковника Аравийская пустыня. Зной ударил его по темени, ударил его, как сабля... К сожалению, не помню слово в слово... Ужасный аравийский зной ударил его как сабля, и он потерял дар речи.

Кондуктор выслушал с улыбкой всю тираду и протянул Гаврилеску билет. Гаврилеску, водрузив шляпу на голову, принялся шарить в карманах; бумажник не находился.

— Прошу прощения,— пробормотал он.— Постоянно забываю, куда его положил.

— Ничего,— сказал кондуктор с неожиданной доброжелательностью.— Время у нас есть. До цыганок еще не доехали...

И, повернувшись к старику, подмигнул. Старикан вспыхнул, обеими руками вцепился в свою жестяную коробку. Гаврилеску протянул банкноту, кондуктор, улыбаясь, отсчитал ему сдачи, а старик все шипел:

— Позор! Безобразие!

— Все говорят...— сказал Гаврилеску, снова обратив в веер свою соломенную шляпу.— Кажется, там и правда красивый дом, а какой сад!.. Что за сад!..— повторил он и восхищенно покачал головой.—

Поглядите, вот он, уже виден! — И Гаврилеску прильнул к окошку, чтобы разглядеть сад.

Кое-кто из мужчин будто ненароком приник к окнам. Но старик сурово глядел прямо перед собой, продолжая твердить:

— Позор! Следовало бы запретить!

— Там старые ореховые деревья,— продолжал Гаврилеску,— потому такая тень и прохлада. Говорят, деревья грецких орехов дают тень, только когда им за тридцать. Не знаю, правда ли?

Старикан будто не слышал. Гаврилеску повернулся к соседу, задумчиво глядевшему в окно.

— Там старые орехи, им не меньше пятидесяти. Потому так тенисто. В этакий зной приятно. Счастливые люди...

— Счастливые женщины,— поправил его сосед, не поворачивая головы.— Там живут цыганки.

— Вот-вот, и я слышал,— подхватил Гаврилеску.— Я езжу этим трамваем три раза в неделю. И даю вам честное слово, не было случая, чтобы их не помянули, этих цыганок. Да видел ли их кто? Я все думаю: откуда они взялись-то?

— Это дело давнее,— сказал сосед.

— Уж двадцать один год как они здесь,— перебил его другой пассажир.— Когда я впервые приехал в Бухарест, эти цыганки уже здесь жили. Только сад тогда был много больше. Лицей еще не построили...

— Я ведь этим трамваем регулярно три раза в неделю езжу,— продолжал Гаврилеску.— К несчастью, я учитель музыки. Я говорю «к несчастью», потому что не создан для этого,— добавил он, силясь улыбнуться.— У меня артистическая натура.

— Так я вас знаю,— вдруг вступил в разговор старикан.— Ну, конечно, вы Гаврилеску, учитель музыки. Лет пять-шесть назад вы учили играть на рояле мою внучку. А я-то думаю: откуда мне знакомо ваше лицо?..

— Да, это я и есть,— продолжал Гаврилеску.— Знаете, я даю уроки музыки и много езжу на трамвае. Весной, когда еще не так жарко и дует ветерок, даже приятно. Сидишь себе вот так у окошка и катишь мимо цветущих садов. Я уже говорил вам: этим трамваем я езжу трижды в неделю. Здесь только и разговоров что про цыганок. Вот я себя и спрашиваю. «Гаврилеску,— говорю я себе,— ну предположим, это на самом деле цыганки, ну ладно, но откуда у них столько денег? Такой дом — настоящий дворец, сад со старыми орехами,— да тут пахнет миллионами».

— Позор! — снова крикнул старик и брезгливо отвернулся.

— Думал я и о другом,— продолжал Гаврилеску. — Если исходить из моего заработка — сто лей за урок,— чтобы получить миллион, надо дать десять тысяч уроков. Однако, видите ли, в действительности все обстоит гораздо сложнее. Допустим, я бы имел двадцать часов в неделю; все равно, чтобы заработать миллион, потребовалось бы пятьсот недель, то есть почти десять лет, и нужно было бы раздобыть двадцать учениц с двадцатью роялями. А летние каникулы, когда у меня остается две-три ученицы? А рождественские и пасхальные? Все эти потерянные часы потеряны и для миллиона. Так что тут надо говорить не о пятистах неделях по двадцать часов в каждой и не о двадцати ученицах с двадцатью роялями, а о много-много бóльших цифрах!

— Совершенно верно,— отозвался кто-то из соседей.— В наши дни уже не учатся играть на рояле.

— Ах! — вскричал вдруг Гаврилеску, ударив себя по лбу.— Чувствовал я, что чего-то не хватает. Портфель! Я забыл портфель с партитурами. Заговорился с мадам Войтинович, тетушкой Отилии, и забыл портфель... Вот незадача!..— добавил он, вытащил платок из-за воротника и спрятал его в карман.— По этакому зною тащись, Гав-

рилеску...— Он с отчаяньем озирался, будто ждал от кого-то помощи. Потом решительно встал и, пробормотав: «Был рад с вами познакомиться», снял шляпу, слегка раскланялся и быстрыми шагами направился к выходу.

Едва дождавшись остановки, Гаврилеску спрыгнул с подножки трамвая. Улица вновь дохнула на него зноем, запахом расплавленного асфальта. Он с трудом перешел на другую сторону, бормоча себе под нос: «Держись, Гаврилеску! Уж не стал ли ты сдавать? Видно, склероз, теряешь память. Повторяю: держись! Не имеешь права! Сорок девять лет для мужчины не возраст...» Но такая его охватила усталость, такое изнеможение, что он рухнул на скамейку прямо на солнце. Вытащил платок и принялся утирать лицо. «Кажется, нечто похожее со мной уже случалось,— подумал он, пытаясь себя подбодрить.— А ну припомни, Гаврилеску, напряги память. Где это было? Ты вот так же сидел на скамейке, тогда у тебя совсем не было денег. И тоже стояло лето, только не такое жаркое...» Он оглядел безлюдную улицу — дома с закрытыми ставнями, с опущенными шторами казались пустыми. «Люди разъехались на курорты. Не сегодня-завтра уедет и Отилия»,— подумал он. И вдруг вспомнил: это было в Шарлоттенбурге; как и сейчас, он сидел на скамейке, залитой солнцем, только тогда в животе и в кармане у него было пусто. «Если ты молод и артист, все переносится легче,— подумал он. И поднялся, сделал несколько шагов, чтобы посмотреть, не видно ли трамвая — в движении не так жарко». Он вернулся, прислонился к дому, снял шляпу и стал обмахиваться.

Всего метрах в ста от остановки был самый настоящий оазис. Высокие липы сада накрывали тротуар густым шатром ветвей. Они манили к себе, но Гаврилеску колебался. Кинул взгляд туда, откуда должен был появиться трамвай, и вдруг решительно двинулся к саду. Вблизи тень оказалась не такой густой. Но из сада веяло прохладой, и Гаврилеску, вскинув голову, задышал всей грудью. «А как было здесь месяц назад, когда цвели липы»,— мечтательно подумал он. И, подойдя к решетке ворот, стал разглядывать сад. Дорожки, посыпанные гравием, были недавно политы, он видел цветущие клумбы, а вдали бассейн, окруженный гномами. Трамвай протарахтел совсем рядом, и Гаврилеску, обернувшись, с улыбкой воскликнул: «Слишком поздно!» Повторил по-немецки: «Zu spät», поднял шляпу и долго махал трамваю вслед, как бывало на Северном вокзале, когда Эльза отправлялась на месяц к родным в деревню неподалеку от Мюнхена.

Потом спокойно, не спеша пошел вперед. На следующей остановке он снял пиджак и приготовился терпеливо ждать, когда внимание его привлек горький запах — будто кто-то растер между пальцами лист грецкого ореха. Он огляделся. Никого. Улица насколько хватал глаз пустынна. Смотреть на небо он не решался, но чувствовал над головой раскаленный добела слепящий свет, асфальт дышал жаром, обжигал рот и щеки. И тогда, надвинув на лоб шляпу, с пиджаком под мышкой, он покорно отправился в обратный путь. А завидев издали густую сень старых орехов, почувствовал, как забилось сердце, и чуть прибавил шагу. Он почти дошел до заветной тени, когда сзади послышался металлический стон трамвая. Остановившись, он снова в знак приветствия снял шляпу и воскликнул: «Слишком поздно! Слишком поздно!..»

Прохлада под сенью старых орехов была так неожиданна, так диковинна, что Гаврилеску на миг смешался. Будто вдруг неведомая сила перенесла его в горный лес. Ошеломленный, с почтительной улыбкой озирал он высокие деревья, каменную ограду, увитую плющом, и бесконечная печаль овладела им. Столько лет проезжать на трамвае мимо этого сада и ни разу не остановиться, не увидеть

его вблизи! Закинув голову, он глядел на вершины деревьев и медленно шел вперед. И вдруг оказался у ворот, и ему навстречу — будто она караулила его — вышла красивая, очень смуглая девушка в ожерелье, с золотыми серьгами.

Она схватила его за руку и зашептала:

— Желаете к цыганкам?

Глаза и рот ее светились улыбкой, и, видя его колебания, она чуть потянула его во двор. Гаврилеску, зачарованный, последовал за нею: но, сделав несколько шагов, остановился, будто собираясь сказать что-то.

— Не хотите к цыганкам? — еще тише прошептала девушка.

И, глубоко заглянув ему в глаза, поспешно повела за руку к старому домишку, прятавшемуся в буйных кустах бузины и сирени. Открыла дверь и подтолкнула его вперед. Гаврилеску очутился в странной полутьме — будто в комнате были не окна, а синие и зеленые витражи. Где-то на улице проезжал трамвай, и его металлический грохот показался Гаврилеску таким невыносимым, что он поднес руку ко лбу. Когда грохот стих, рядом, за низким столиком он увидел старуху, старуха попивала кофе и разглядывала Гаврилеску с любопытством, будто ожидая, когда он проснется.

— Что угодно сегодня твоему сердцу? — спросила старуха.— Цыганку, гречанку, немку?..

— Нет! — Гаврилеску прервал ее движением руки.— Только не немку.

— Тогда цыганку, гречанку или еврейку,— продолжала старуха.— Триста лей,— прибавила она.

Гаврилеску торжественно улыбнулся.

— Три урока музыки! — Он шарил в карманах.— Не считая платы за трамвай, туда и обратно.

Старуха задумчиво потягивала кофе.

— Ты музыкант? — спросила она вдруг.— Тогда тебе должно понравиться.

— Я артист,— сказал Гаврилеску, вытаскивая по очереди из кармана брюк несколько мокрых платков и методично, по одному, перекладывая их в другой карман.— К несчастью, я вынужден был стать учителем музыки, но идеалом моим всегда было чистое искусство. Для меня важна жизнь духа... Простите,— застенчиво прибавил он и, положив на столик свою шляпу, принялся наполнять ее предметами, которые извлекал из карманов.— Никогда не могу сразу найти бумажник...

— Не к спеху,— сказала старуха.— Еще рано. Нет и трех...

— Простите, однако позволю себе не согласиться,— прервал ее Гаврилеску.— Теперь, должно быть, около четырех. В три я кончил заниматься с Отилией.

— Тогда, должно быть, опять стали часы,— прошептала старуха и вновь погрузилась в свои мысли.

— Ах, наконец-то! — воскликнул Гаврилеску, торжествующе помахивая бумажником.— Оказался на своем месте...

Отсчитал деньги и протянул ей.

— Отведите его в хижину,— промолвила старуха, поднимая взгляд от чашки кофе.

Кто-то схватил Гаврилеску за руку, и, испуганно обернувшись, он увидел рядом девушку, которая соблазняла его у ворот. Он последовал за ней в смущении, держа под мышкой шляпу с предметами, извлеченными из карманов.

— Так помни,— сказала девушка,— да не перепутай их: цыганка, гречанка, еврейка...

Они пересекли сад, прошли перед высоким зданием, крытым красной черепицей, которое Гаврилеску приметил еще с улицы.

Вдруг девушка остановилась и, заглянув ему в глаза, молча усмехнулась. Гаврилеску, распихивая содержимое шляпы по карманам, говорил:

— Я артист. Ах, я остался бы здесь под этим шатром деревьев.— И он указал шляпой на старые орехи.— Люблю природу. В этакий зной тут прохладно и дышится легко, как в горах... Но куда мы идем? — спросил он, видя, что девушка подошла к деревянной изгороди и открывает калитку.

— В хижину... Как велела старуха...

Она снова схватила его за руку и потащила за собой. Они вошли в запущенный сад, где розы и лилии терялись в зарослях бурьяна и шиповника. Здесь снова дохнуло зноем, и Гаврилеску заколебался.

— Я, верно, ошибся,— произнес он разочарованно.— Мне хотелось насладиться прохладой среди деревьев...

— Погоди, сейчас войдем в хижину,— перебила его девушка, указывая на заброшенный старый домишко, едва приметный в глубине сада.

Гаврилеску, нахлобучив шляпу на голову, мрачно следовал за нею. Но в прихожей сердце его заколотилось с такою силой, что он принужден был остановиться.

— Почему-то волнуюсь,— пробормотал он.— Сам не знаю почему...

— Не пей слишком много кофе,— прошептала девушка, открывая дверь и вталкивая его в комнату.

Это было помещение, границы которого терялись в полумраке, потому что шторы были приспущены, и в неверном свете ширмы было не отличить от стен. Он пошел вперед, ковры под ногами становились все толще, все мягче, ноги погружались в них, точно в перину, а сердце билось с каждым шагом все быстрее; наконец, он в испуге остановился. И тогда, в то самое мгновенье, он вдруг почувствовал прилив счастья, будто снова был молод, и весь мир принадлежал ему, и Хильдегард тоже.

— Хильдегард! — воскликнул он, обращаясь к девушке.— Я не думал о ней вот уж двадцать лет. Это была моя большая любовь. Женщина моей жизни!..

Но, обернувшись, увидел, что девушка, к которой он обращался, скрылась. И ощутил едва различимый экзотический запах и услышал, как кто-то захлопал в ладоши, а комната стала наполняться странным, мистическим светом — будто медленно, очень медленно, одна за другой, открывались занавески и в нее проникал свет летнего заката. Гаврилеску успел заметить, что ни одна занавеска не шелохнулась, и тем не менее перед ним, всего на расстоянии нескольких метров, оказались три девушки, они легонько хлопали в ладоши и смеялись.

— Ты избрал нас,— сказала одна из девушек.— Цыганку, гречанку и еврейку.

— Но посмотрим, сможешь ли ты отгадать нас,— сказала другая.

— Посмотрим, сможешь ли ты угадать, какая из нас цыганка,— прибавила третья.

Гаврилеску, уронив соломенную шляпу, завороженный, уставился на девушек, будто видел не их, а нечто за ними, нечто скрытое за ширмами.

— Как хочется пить! — прошептал он вдруг, поднеся руку к горлу.

— Старуха прислала тебе кофе,— сказала одна из девушек.

Она исчезла за ширмой и вернулась с круглым деревянным подносом, на котором стояла чашка кофе и джезве. Гаврилеску схватил чашку, выпил кофе залпом и, с улыбкой возвращая пустую, повторил шепотом:

— Ужасно хочется пить.

— Теперь будет очень горячий, прямо из джезве,— сказала девушка, наполняя чашку.— Пей осторожно...

Гаврилеску попытался пить, но кофе был такой горячий, что обжигал губы и — увы! — пришлось опустить чашку на поднос.

— Пить хочется,— уныло повторял он.— Если бы немного воды...

Тогда исчезли за ширмой две другие девушки и вскоре появились вновь, неся уставленные подносы.

— Старуха прислала тебе варенье,— сказала одна.

— Розовое варенье и шербет,— прибавила другая.

Но Гаврилеску впился глазами в кружку, наполненную до краев водою, и хотя рядом стоял толстый зеленый матового стекла стакан, схватил ее обеими руками и поднес к губам. Он пил долго, шумными глотками, запрокинув голову. Опорожнив кружку, со вздохом поставил ее на поднос, вытащил один из платков и, отирая лоб, провозгласил:

— Барышни! Как же мне хотелось пить! Я слышал о некоем полковнике Лоуренсе...

Девушки понимающе переглянулись и прыснули. Они хохотали от всей души все громче и громче. Гаврилеску смотрел на них удивленно, но вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он рассмеялся тоже. Потом долго еще молча утирал лицо платком и наконец сказал:

— Если позволите, я бы тоже хотел спросить вас. Интересно узнать, что это вас так разобрало?

— Мы смеемся, потому что ты назвал нас барышнями,— сказала одна из девушек.— Здесь-то, у цыганок...

— Неправда! — прервала ее другая.— Не слушай ее, она хочет тебя обмануть. Мы смеемся потому, что ты по ошибке выпил из кружки, а не из стакана. Если бы ты пил из стакана...

— Не слушай ее! — вступила третья.— Она хочет тебя обмануть. Я скажу тебе правду: мы смеемся потому, что ты испугался.

— Это неправда! Неправда! — запротестовали две другие.— Она хочет проверить, не испугался ли ты...

— Он испугался! Испугался! — повторяла третья.

Гаврилеску шагнул вперед и торжественно поднял руку.

— Барышни! — возгласил он с обидой.— Вижу, что вы не знаете, с кем имеете дело. Я — человек не рядовой, не обычный. Я — артист. И прежде чем я имел несчастье стать учителем музыки, я пережил поэтическую грезу.— И, помолчав, он воскликнул патетически:— Барышни! В двадцать лет я познакомился с Хильдегард, я пленился ею, и я ее любил!

И с глубоким вздохом он опустился в кресло, придвинутое ему одной из девушек.

— Ах! — продолжал он после долгого молчания.— Почему вы напомнили мне о трагедии моей жизни? Ведь вы уже, наверно, поняли: Хильдегард так и не стала моею женой. Что-то случилось, случилось что-то ужасное...

Девушка протянула ему чашку кофе, и Гаврилеску принялся задумчиво, маленькими глотками пить его.

— Случилось что-то ужасное,— продолжал он помолчав.— Но что? Что могло случиться? Мне хотелось бы знать, но я не могу вспомнить. И то правда: я не думал о Хильдегард очень много лет. Я смирился. Я сказал себе: «Гаврилеску, что было, то прошло!» Нет счастья артистам. И вдруг только что, войдя сюда, вспомнил, что и мне знакома благородная страсть, я вспомнил, что любил Хильдегард!..

Девушки переглянулись и захлопали в ладоши.

— И все же я была права,— сказала третья.— Он испугался.

— Да,— согласились остальные.— Ты была права: он испугался...

— Не понимаю, о чем вы...

— Ты испугался,— сказала одна из девушек, шагнув к нему, и в голосе ее был вызов.— Ты испугался сразу, как вошел...

— Вот почему тебе так хотелось пить,— сказала другая.

— И с тех пор ты все уходишь от ответа,— добавила первая.— Ты избрал нас, но боишься не отгадать.

— Ты должен сперва отгадать,— подхватила третья девушка.— Отгадать, кто из нас цыганка, кто гречанка, а кто еврейка...

— Если ты утверждаешь, что не испугался, попробуй сейчас,— подхватила первая.— Отгадай. Кто цыганка?

— Кто цыганка? Кто цыганка? — эхом отозвались девичьи голоса.

Он улыбнулся и снова стал разглядывать девушек.

— Вот это мне нравится,— заговорил он, вдруг придя в хорошее расположение духа.— Значит, узнав, что перед вами артист, вы решили, будто я не от мира сего и понятия не имею, как выглядит цыганка...

— Но ты снова уходишь от ответа,— прервала его одна из девушек.— Угадай же.

— Значит,— продолжал упорствовать Гаврилеску,— вы думаете, что я лишен воображения и не могу угадать, как выглядит цыганка, в особенности если она молода, прекрасна и обнажена...

Ибо он угадал их с первого взгляда. Та, что сделала шаг ему навстречу, обнаженная, очень смуглая, черноволосая и черноглазая, без сомнения, была цыганка. У второй, тоже обнаженной, но прикрытой матовой зеленой вуалью, тело было неестественно белым и отливало перламутром, а ноги обуты в золотые сандалии. Эта могла быть только гречанкой. Ну а третья, без сомнения, была еврейкой: длинная юбка вишневого бархата обтягивала ее стан, грудь же и плечи были обнажены, ярко-рыжие волосы собраны на макушке в хитроумную прическу.

— Угадай! Какая из нас цыганка? Какая цыганка? — кричали все три девушки разом.

Гаврилеску поднялся с кресла и, указав рукой на смуглянку напротив, торжественно произнес:

— Я артист и потому согласен подвергнуться испытанию, хотя это ребячество, и отвечаю: ты цыганка!

И в следующее мгновение почувствовал, как девушки схватили его за руки и завертели в хороводе, они кричали и свистели, но голоса их почему-то доносились очень издалека.

— Не отгадал! Не отгадал! — слышалось ему словно во сне.

Он попытался ускользнуть, но девушки цепко удерживали его в своем колдовском хороводе. Он ощущал жар их юных тел, вдыхал чуть приметный экзотический аромат духов, слышал легкую поступь танцующих ног. Хоровод кружил его вокруг кресел и ширм, унося в глубь комнаты, и вскоре он отдался ему, забыв обо всем на свете.

Когда он очнулся, смуглянка стояла перед ним на коленях у дивана.

— Долго ли я спал? — спросил он, приподнявшись на локте.

— Ты и не думал спать,— успокоила его девушка.— Просто задремал.

— Но скажите ради Бога, что вы со мною сделали? — спросил он, проводя рукой по лбу.— Я будто потерял сознание.

Он с удивлением озирался. Казалось, это была уже другая комната, и все же он узнавал расставленные в беспорядке среди кресел, диванов и зеркал ширмы, которые бросились ему в глаза сразу, как он вошел. Он не мог понять их расположения. Одни ширмы, очень высокие, почти до потолка, можно было бы принять за стены, но кое-где они отходили от стен под острым углом и тянулись почти до середины комнаты. Другие, озаренные таинственным светом, выглядели окнами с приспущенными занавесками и будто выходили в тем-

ные коридоры. Были здесь и ширмы многоцветные, разрисованные причудливыми узорами или прикрытые шалями, а может, расшитыми тканями; ниспадая складками на ковры, сливаясь с ними, они образовывали нечто вроде альковов различных форм и величин. Но достаточно ему было на несколько секунд задержать взгляд на одном из таких альковов, и стало ясно, что это иллюзия, что это всего лишь отдельные ширмы, отраженные в золотисто-зеленой поверхности зеркала. И в тот миг как Гаврилеску понял это, комната завертелась вокруг, и он снова поднес руку ко лбу.

— Скажите ради Бога, что вы со мною сделали? — повторил он.

— Ты не узнал меня,— прошептала девушка, печально улыбаясь.— А я ведь подмигнула тебе, дала понять, что я не цыганка. Я гречанка.

— Греция! — воскликнул Гаврилеску, вскакивая на ноги.— Бессмертная Греция!

Усталость его точно рукой сняло. Он слышал, как забилось его сердце, и неизъяснимое блаженство теплой волной разлилось по всему телу.

— Когда я был влюблен в Хильдегард,— в радостном волнении продолжал он,— я мечтал только о том, чтобы совершить вместе с ней путешествие по Греции.

— Ты был глуп,— прервала его девушка.— Надо было не мечтать, надо было любить ее...

— Мне было двадцать лет, а ей не исполнилось и восемнадцати. Она была красива. Мы оба были красивы,— прибавил он.

В это мгновение он заметил, что за странный костюм был на нем: длинные, широкие панталоны, напоминающие шаровары, и короткая шелковая туника золотисто-желтого цвета. Глядя в зеркало, он с трудом узнавал себя.

— Я мечтал, что мы отправимся в Грецию,— помолчав, продолжал он уже спокойнее.— Нет, это было больше чем мечта, она начала уже сбываться, потому что мы решили отправиться в Грецию вскоре после свадьбы. И тогда что-то случилось. Господи, что же случилось? — Он схватился за виски.— Был вот такой же, как сегодня, жаркий, ужасно жаркий летний день. Я увидел скамейку, направился к ней и тут почувствовал, как зной рассек мне темя, точно саблей... Нет, это из рассказа полковника Лоуренса, я слышал, как студенты читали его наизусть, когда ждал трамвая. Ах, если бы у меня был рояль! — воскликнул он в отчаянии.

Девушка вспорхнула с ковра и, схватив его за руку, прошептала:

— Пошли со мной!..

И торопливо повела его, лавируя между ширмами и зеркалами. Она шла все быстрее и быстрее. И вот уже Гаврилеску бежал за ней и хотел было остановиться передохнуть, но девушка не позволила.

— Поздно,— прошептала она на бегу, и снова ему показалось, будто голос ее посвистом долетел откуда-то издалека.

Но теперь голова у него не кружилась, хотя надо было обегать бесчисленные диваны, и мягкие подушки, и сундуки, и ларчики, накрытые коврами, и странной формы большие и маленькие зеркала, вдруг возникавшие перед ними, словно бы их только что поставили на ковре. Из коридора, образованного двумя рядами ширм, они неожиданно вырвались на простор солнечной залы. Две другие девушки ждали их там, опершись на рояль.

— Что ж вы так долго? — спросила рыжеволосая.— Кофе остыл.

Гаврилеску перевел дух и, шагнув к девушкам, поднял обе руки, будто защищаясь.

— Ах, нет! — сказал он.— Я больше не пью. Уже достаточно. Я, барышни, хоть и натура артистическая, но жизнь веду правильную. Не люблю понапрасну сидеть в кафе...

Но девушка, будто не услышав его слов, повторила, обернувшись к гречанке:

— Что ж ты так долго?

— Он вспомнил Хильдегард.

— Зачем ты разрешила? — укоризненно сказала третья девушка.

— Нет, но позвольте,— перебил Гаврилеску, подходя к роялю.— Это уж мое дело. И никто не может мне воспрепятствовать. То была трагедия моей жизни.

— Теперь надолго,— сказала рыжеволосая.— Опять запутался.

— Нет уж, позвольте,— возмутился Гаврилеску.— И вовсе я не запутался. То была трагедия моей жизни. Я вспомнил ее, едва переступил ваш порог. Послушайте,—воскликнул он, подходя к роялю.— Я вам сыграю, и вы поймете.

— Зачем ты ему разрешила? — прошептали разом две девушки.— Теперь он никогда нас не отгадает.

Несколько мгновений Гаврилеску сосредоточенно молчал, потом склонился над роялем и вскинул руки над клавишами — как если бы собирался сыграть нечто бравурное. И вдруг воскликнул:

— Вспомнил! Я знаю, что случилось.

Он вскочил из-за рояля и, не поднимая глаз, стал разгуливать по комнате.

— Теперь я знаю,— повторил он.— Это было, как сейчас, летом. Хильдегард с родителями уехала в Кёнигсберг. Было ужасно жарко. Я жил тогда в Шарлоттенбурге и покидал дом, только чтобы прогуляться в тени деревьев. Высокие старые деревья давали густую тень. И было безлюдно. Слишком было жарко. Никто не решался выходить из дому. И вдруг — девушка, она рыдала, закрыв лицо руками. Перед ней стоял маленький чемодан, она сняла туфли и поставила на него ноги, и я очень удивился, когда услышал: «Гаврилеску, я так несчастна». Разве мог я предположить?.. Он перестал ходить по комнате и круто повернулся к девушкам.— Барышни,— провозгласил он патетически,— я был молод, красив, у меня была душа артиста! Вид покинутой девушки разрывал мое сердце. Я заговорил с ней, попытался ее утешить. Так началась трагедия моей жизни.

— Что же теперь делать? — спросила рыжеволосая, обращаясь к подругам.

— Подождем, посмотрим, что скажет старуха,— предложила гречанка.

— Если еще подождем, он и вовсе нас не отгадает,— сказала третья девушка.

— Да, трагедия моей жизни...— продолжал Гаврилеску.— Ее звали Эльза. Но я покорился. Я сказал себе: «Гаврилеску, так должно было случиться. Не судьба! Нет счастья артистам...»

— Видите? — снова заговорила рыжеволосая.— Теперь он опять запутался и неизвестно, как выпутается.

— Это рок! — воскликнул Гаврилеску, воздев руки и поворачиваясь к гречанке.

Девушка слушала его, улыбаясь, заложив руки за спину.

— Бессмертная Греция! — воскликнул он.— Мне не пришлось тебя увидеть.

— Не надо об этом! Не надо! — воскликнули хором две другие девушки.— Вспомни: ты нас избрал!

— Цыганка, гречанка, еврейка,— произнесла гречанка, многозначительно заглядывая ему в глаза.— Ты так хотел, ты нас избрал...

— Угадай нас! — крикнула рыжеволосая.— И ты увидишь, как будет прекрасно!

— Какая из нас цыганка? Какая цыганка? — наперебой спрашивали все три девушки, окружив его.

Гаврилеску быстро отступил к роялю.

— Так, значит, вот как тут у вас принято. Артист или простой

смертный — вы одно твердите: отгадай цыганку. А зачем, скажите на милость? Кто распорядился?

— Такова наша игра, так принято у нас, цыганок,— сказала гречанка,— попробуй угадай. Не пожалеешь.

— Но я не расположен играть,— возразил Гаврилеску с горячностью.— Я вспомнил трагедию моей жизни. Ибо, видите ли, теперь я очень хорошо понимаю: если бы в тот вечер в Шарлоттенбурге я не вошел бы с Эльзой в пивную... Или даже если бы я вошел, но если бы у меня были деньги, чтобы заплатить за еду, жизнь моя сложилась бы иначе. Но случилось так, что у меня не было денег, и заплатила Эльза. И назавтра я пытался раздобыть несколько марок, чтобы отдать ей долг. Но не нашел. Все мои друзья и знакомые разъехались. Было лето, стояла ужасная жара...

— Он снова испугался,— прошептала рыжеволосая, опустив глаза.

— Так слушайте, ведь я еще не кончил! — крикнул Гаврилеску взволнованно.— Три дня я не мог раздобыть денег и каждый вечер приходил к Эльзе на ее временную квартиру; приходил, чтобы извиниться, что не нашел денег. А потом мы отправлялись вдвоем в пивную. Если бы хоть я выдержал характер и не ходил с ней в пивную! Но что вы хотите? Я был голоден. Я был молод и красив, Хильдегард была в отъезде, и я был голоден. По правде говоря, случались дни, когда я вовсе не ел. Жизнь артиста...

— Что же теперь делать? — прервали его девушки.— Ведь время идет.

— Теперь? — воскликнул Гаврилеску, снова воздев руки.— Теперь хорошо, тепло, и мне у вас нравится, потому что вы молоды, красивы, вы здесь рядом и готовы поднести мне варенье и кофе. Но мне больше не хочется пить. Теперь мне хорошо, я прекрасно себя чувствую. И я говорю себе: «Гаврилеску, эти девушки чего-то от тебя ждут. Доставь им удовольствие. Если они хотят, чтобы ты угадал их, угадай. Но будь осторожен! Будь осторожен, Гаврилеску, если снова ошибешься, они закружат тебя в хороводе и ты не очнешься до утра».

И, улыбаясь, он зашел за рояль, обратив его в щит от девушек.

— Так, значит, вы хотите, чтобы я вам сказал, какая из вас цыганка. Хорошо, я скажу...

Девушки оживились, стали рядом, молча уставились на него.

— Я скажу вам,— помолчав, продолжал он.

И мелодраматическим жестом выкинул руку к девушке, покрытой бледно-зеленой вуалью. Девушки застыли, будто не веря своим глазам.

— Что с ним? — спросила наконец рыжеволосая.— Почему он не может угадать?

— С ним что-то случилось,— сказала гречанка.— Он вспоминает о том, что потерял, он заблудился в прошлом.

Девушка, которую он принял за цыганку, выступила вперед, взяла поднос с кофейным прибором и, проходя мимо рояля, грустно улыбнувшись, шепнула:

— Я еврейка...

И исчезла за ширмой.

— Ах! — воскликнул Гаврилеску, ударив себя по лбу.— Мне бы следовало понять. В ее глазах было что-то, пришедшее из дали веков. И на ней была вуаль — прозрачная, но вуаль. Она была будто из Ветхого завета...

Рыжеволосая громко рассмеялась и крикнула:

— Не отгадал ты нас, барин! Не отгадал, кто цыганка...

Она провела рукой по волосам, тряхнула головой, и огненно-рыжие кудри рассыпались, закрыли ей плечи. Пританцовывая, она кру-

жилась вокруг него, хлопала в ладоши и напевала, а волосы языками пламени лизали ее шею.

— Скажи, гречанка, как было бы, если бы он отгадал,— крикнула она, откидывая непослушные пряди.

— Это было бы прекрасно,— прошептала гречанка.— Мы бы пели тебе, и танцевали, и водили бы тебя по всем комнатам. Это было бы прекрасно.

— Это было бы прекрасно,— эхом повторил Гаврилеску и печально улыбнулся.

— Скажи ему, гречанка! — крикнула цаганская девушка, останавливаясь перед подругами, продолжая хлопать в такт и все сильнее притоптывая по ковру голой ногою.

Гречанка, крадучись, подошла к Гаврилеску и стала что-то нашептывать; она говорила быстро, временами качала головой или прикладывала палец к губам, о чем — Гаврилеску не понял. Но он слушал ее, улыбаясь, глядел растерянно и временами повторял: «Это было бы прекрасно!..» А цыганка топала все сильнее и все глуше, как из-под земли доносился до него ее топот, и когда этот дикий, странный ритм стал непереносим, Гаврилеску сделал над собой усилие, ринулся к роялю и заиграл.

— Скажи теперь ты, цыганка! — крикнула греческая девушка.

Он слышал, как она приближается, будто пританцовывая на огромном бронзовом барабане, и через несколько мгновений почувствовал спиной ее горячее дыхание. И тогда, еще ниже склонившись над роялем, он обрушился на клавиши с такою гневной силой, будто хотел разбить их и вырвать, чтобы проникнуть в фортепиано, в самую его глубь.

Он больше ни о чем не думал, увлеченный новыми, незнакомыми мелодиями; казалось, он слышал их впервые, хотя они возникали в его сознании одна за другой, словно вспоминались после долгого забвения. Так прошло много времени, и, только перестав играть, он заметил, что один и в комнату спустились сумерки.

— Где вы? — испуганно крикнул он, вставая из-за рояля.

И, поколебавшись, направился к ширме, за которой исчезла еврейка.

— Куда вы спрятались? — крикнул он снова.

Тихонько, на цыпочках, точно хотел застать их врасплох, он пробрался за ширму. Здесь будто начиналась другая комната, переходившая в извилистый коридор. Комната была странная, с низким неровным потолком, ее чуть волнистые стены то исчезали, то вновь возникали из темноты. Гаврилеску сделал наугад несколько шагов, остановился и прислушался. Ему показалось, что именно в этот момент торопливые шаги прошуршали по ковру совсем рядом.

— Где вы? — повторил он.

Ему ответило только эхо. Он вгляделся в темноту и будто увидел: все три девушки жались в углу коридора; вытянув вперед руки, он ощупью двинулся к ним. Но вскоре понял, что идет в неверном направлении, ибо через несколько метров коридор сворачивал влево, тогда он снова остановился.

— Вы напрасно прячетесь, я все равно вас найду! — крикнул он в темноту.— Лучше выходите по доброй воле!..

И опять напряженно прислушался, вглядываясь в темноту. Все было тихо. Только, казалось, опять нахлынула жара, и он решил вернуться и подождать за роялем. Он очень хорошо помнил, откуда пришел, и знал, что сделал не больше двадцати — тридцати шагов. Вытянув вперед руки, он осторожно направился обратно, но через несколько шагов руки его уперлись в ширму, и он испуганно отпрянул. Еще несколько мгновений назад — он это твердо знал — ширмы здесь не было.

— Что вы задумали? Выпустите меня! — крикнул он.

И ему показалось, что вновь раздались сдавленные смешки и шорох. Тогда он осмелел:

— Может, вы решили, будто я испугался,— сказал он, стараясь придать своему голосу как можно больше бодрости.— Нет, позвольте, позвольте! — поспешно прибавил он, словно ожидая, что его прервут.— Если я стал играть с вами в прятки, то только из жалости. Вот в чем дело: я пожалел вас. Увидел вас, бедных девочек, запертых в цыганской хижине, и сразу сказал себе: «Гаврилеску, эти девушки тебя разыгрывают. Притворись, что им удалось тебя обмануть. Пускай подумают, что ты не знаешь, какая из них цыганка. Таковы условия игры!..» Таковы условия игры! — крикнул он во весь голос.— Но теперь наигрались, выходите на свет.

Он прислушался, улыбаясь, опершись правой рукой на ширму. В эту минуту кто-то пробежал мимо — совсем рядом. Он резко повернулся, вытянул вперед руки со словами:

— Посмотрим, кто ты. Посмотрим, кого я поймал. Уж не цыганку ли?

И долго шарил в воздухе руками, а когда остановился и прислушался, ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха.

— Ну ничего,— сказал он, будто не сомневался, что девушки прячутся в темноте где-то совсем рядом.— Я еще подожду. Вижу, вы пока не поняли, с кем имеете дело. Потом пожалеете. Я мог бы научить вас играть на рояле. Вы лучше бы узнали музыку. Лучше бы поняли «Песни» Шумана. Какая это красота! — воскликнул он с горячностью.— Что за божественная музыка!

Стало еще жарче, и он принялся вытирать лицо рукавом туники. Нащупал ширму и, держась ее, уныло поплелся влево. Временами останавливался, прислушивался и снова двигался вперед все быстрее и быстрее. И вдруг рассердился:

— И дернуло меня связаться с детьми! Да что там! Это я из вежливости сказал «с детьми». Нет, вы не дети. Вы сами понимаете, кто вы. Вы цыганки. Темные. Невежественные. Да знаете ли вы, где находится Аравийская пустыня? Кто из вас слышал о полковнике Лоуренсе?

Казалось, ширма никогда не кончится, и чем дальше он шел, тем невыносимее становилась жара. Он снял тунику, вытер лицо и затылок, повесил ее на плечо вместо полотенца и снова принялся шарить рукой в поисках ширмы. Но на сей раз нащупал стену, гладкую, прохладную стену, и прижался к ней, распластав руки. Долго стоял он так, прижавшись к стене и глубоко дыша. Потом медленно двинулся, по-прежнему держась стены, приникнув к ней всем телом. Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что потерял тунику. Он весь вспотел, пришлось остановиться, снять шаровары и вытереться ими с головы до ног. В это мгновение ему показалось, будто что-то касается его плеча; он отскочил с испуганным криком:

— Пустите! Да пустите же!..

И снова кто-то или что-то, какое-то существо или какой-то неведомый предмет коснулся его лица и плеч, и, защищаясь, он принялся размахивать над головой шароварами. Становилось все жарче, пот градом катился по щекам, он задыхался. От резкого движения шаровары выскользнули из рук и исчезли где-то во тьме. На мгновение Гаврилеску застыл с поднятой рукой, судорожно сжимая кулак, будто еще надеялся, что шаровары к нему вернутся. Ибо вдруг почувствовал, что наг, и тогда, как маленький, встал на четвереньки, упершись руками в ковер и наклонив голову, точно приготовился бежать взапуски.

Он двигался вперед, ощупывая ковер, продолжая уповать на то, что отыщет шаровары. Какие-то предметы попадались на пути, но что именно, отгадать было трудно: наткнешься на сундучок, а ощупаешь получше — гигантская тыква, наподобие головы, завернутая

в шали; диванные подушки и валики, стоило обследовать их более старательно, оказывались мячами, раскрытыми старыми зонтиками, из них сыпались опилки; бельевые корзины были набиты газетами; впрочем, было трудно окончательно решить, на что он натыкался, так как возникали все новые предметы и он принимался их обшаривать. Иногда на пути вставала крупная мебель, и он благоразумно обходил ее сторонкой, чтобы не опрокинуть.

Так он все ползал и ползал на четвереньках, на животе и уже потерял счет времени. С шароварами, верно, надо было проститься. Больше всего изнуряла жара. Казалось, в полуденный зной он мечется по чердаку крытого железом дома. Горячий воздух обжигал ноздри, предметы вокруг все больше раскалялись. Тело взмокло, временами приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Он лежал ничком, широко раскинув руки и ноги, уткнувшись в ковер, прерывисто и глубоко дыша.

Потом он будто задремал и проснулся от дуновения, ему почудилось, где-то открыли окно и повеяло ночной прохладой. Но нет, ощущение было другое, совсем незнакомое, и на мгновение он застыл, почувствовав озноб. Что случилось после, припомнить не удавалось. Какой-то крик испугал его, он очнулся и понял, что бежит в темноте. Бежит как безумный, ударяясь о ширмы, опрокидывая зеркала, разнообразные мелкие предметы, странным образом разложенные на ковре; он скользил и падал, но тут же вскакивал и снова пускался бежать. Перепрыгивал через сундуки, обегал зеркала и ширмы и внезапно осознал, что немного рассеялась тьма и контуры предметов различимы. Словно в дальнем конце коридора на необычной высоте открылось окно и сквозь него проникал гаснущий свет летних сумерек. Но в коридоре жара стала непереносимой. Надо было остановиться, перевести дух, тыльной стороной ладони он отер пот со лба и щек. Сердце стучало так, что, казалось, вот-вот разорвется.

Еще не добравшись до окна, он вновь в испуге остановился. Откуда-то донеслись голоса, смех, шум отодвигаемых стульев, будто целая компания встала из-за стола, направляясь ему навстречу. И в этот момент он увидел, что наг, необычайно худ — кости выпирали из-под кожи, а живот раздулся — такого живота у него никогда не было. Ретироваться уже не было времени. Он ухватился за попавшийся под руку занавес и потянул его. Занавес подался, и, упершись ногами в стену, он всей тяжестью откинулся назад. Но тут случилось нечто неожиданное. Занавес тянул его к себе все сильнее, и через несколько мгновений он оказался прижатым к стене; тогда, отпустив занавес, он попытался высвободиться, но не тут-то было: занавес словно запеленал его, казалось, его связали и втолкнули в мешок. И снова была тьма и такая жара, что Гаврилеску понял: долго он не выдержит, задохнется. Попытался кричать, но горло задеревенело, пересохло, звук глох, точно уходил в войлок.

Голос, показавшийся ему знакомым, произнес:

— Так говори же, барин, говори дальше.

— Что еще вам сказать? — прошептал он.— Я сказал все. Все было кончено. Я приехал с Эльзой в Бухарест. Мы были бедны. Я начал давать уроки музыки...

Он приподнял голову с подушки и встретился глазами со старухой. Она сидела за столиком с джезве в руках, намереваясь разлить кофе.

— Нет, спасибо, больше не хочу! — Он протестующе поднял руку.— Я уже много выпил. Боюсь, что не усну ночью.

Старуха наполнила свою чашку и поставила джезве на углу столика.

— Говори дальше,— упорствовала она.— Что ты потом делал? Что же случилось?

Гаврилеску долго молчал, в задумчивости обмахиваясь шляпой.

— Потом мы начали играть в прятки,— сказал он вдруг изменившимся, посуровевшим голосом.— Конечно, они не знали, с кем имеют дело. Я человек серьезный, артист, учитель музыки. Меня интересует все новое, неизвестное. Я сказал себе: «Гаврилеску, вот тебе возможность расширить свои познания». Я не понимал, что речь идет о наивных детских играх. Но представьте, я вдруг оказался голым и услышал голоса, я был один, как в тот момент, когда... Понимаете, что я хочу сказать...

Старуха покачала головой и продолжала не спеша потягивать кофе.

— Шляпы твоей мы обыскались,— произнесла она.— Всю хижину девочки перевернули, пока не нашли.

— Да, признаю, это была моя вина,— продолжал Гаврилеску.— Я не знал, что, если не отгадаю на свету, придется разыскивать их, ловить, отгадывать в темноте. Мне никто ничего не сказал. И повторяю: когда я увидел, что на мне ничего нет, и почувствовал, что портьера пеленает меня, как саван, честное слово, она была точно саван...

— Ох, и намучились же мы, пока тебя одели,— сказала старуха.— Ни за что ты не хотел одеваться...

— Я говорю вам: эта портьера была точно саван, она запеленала меня, я был спеленут, она стянула меня так, что я не мог дышать. А как было жарко! — воскликнул он, энергично обмахиваясь шляпой.— Удивительно, что я не задохнулся!..

— Да, было очень жарко,— сказала старуха.

В этот момент издалека донеслось звяканье трамвая. Гаврилеску поднес руку ко лбу.

— Ах! — воскликнул он и с трудом поднялся с софы.— Я заговорился, то да се, ну и совсем забыл, что мне надо на улицу Поповн. Представьте, я оставил там портфель с партитурами. Как раз сегодня возвращаюсь и говорю себе: «Держись, Гаврилеску, уж не стал ли ты...» Да, в этом роде я что-то говорил, только как следует не помню...

Он сделал несколько шагов к двери, но вернулся, помахал шляпой и произнес с легким поклоном:

— Рад был с вами познакомиться.

Во дворе его ждала неприятная неожиданность. Хотя солнце зашло, жара стояла пуще, чем в полдень. Гаврилеску снял пиджак, перекинул его через плечо и, продолжая обмахиваться шляпой, пересек двор и вышел на улицу. Чем дальше он удалялся от стены тенистого сада, тем больше страдал от зноя, пыли и запаха расплавленного асфальта. Сгорбившись, рассеянно глядя перед собой, он добрел до остановки. Там не было ни души. Заслышав лязг подъезжающего трамвая, он поднял руку, трамвай остановился.

В полупустом вагоне все окна были открыты. Он сел напротив какого-то юноши и, когда подошел кондуктор, стал искать бумажник. Бумажник попался быстрее, чем можно было ожидать.

— Что-то невероятное! — обратился Гаврилеску к юноше.— Честное слово, хуже, чем в Аравийской пустыне. Если вы слышали когда-нибудь о полковнике Лоуренсе...

Юноша рассеянно улыбнулся и повернул голову к окну.

— Который может быть час? — спросил Гаврилеску кондуктора.

— Пять минут девятого.

— Вот незадача! Они как раз сядут обедать. И могут подумать, что я пришел так поздно, чтобы попасть к столу. Понимаете, будет очень неприятно, если они так подумают... Понимаете, что я имею в виду. С другой стороны, если намекнуть, где я был, мадам Войтинович, дама весьма любопытная, заставит ей все выложить и продержит меня до ночи.

Кондуктор, выслушав его с улыбкой, подмигнул юноше.

— А вы скажите ей, что были у цыганок, вот увидите, она не станет расспрашивать...

— Ах нет, такого не может быть. Я хорошо ее знаю. Она женщина любопытная. Лучше уж ничего не говорить.

На следующей остановке вошло несколько молодых пар, и Гаврилеску подсел к ним, чтобы послушать разговоры. Улучив благоприятный момент, он приподнял руку:

— Разрешите возразить. Я, к несчастью, стал учителем музыки, но мое призвание не в этом...

— Улица Поповн,— объявил кондуктор, и Гаврилеску вскочил, попрощался и кинулся к выходу.

Он шел не спеша по улице, обмахиваясь шляпой. Перед домом восемнадцать остановился, поправил галстук, пригладил рукою волосы и вошел в подъезд. Потихоньку поднявшись на второй этаж, он решительно позвонил. Через несколько минут его догнал молодой человек, с которым он ехал в трамвае.

— Какое совпадение! — воскликнул Гаврилеску, видя, что юноша останавливается с ним рядом.

Дверь рывком открылась, на пороге стояла еще не старая женщина с бледным, увядшим лицом. На ней был фартук, в руках — банка горчицы. Взглянув на Гаврилеску, она нахмурилась и спросила:

— Что вам угодно?

— Я забыл свой портфель,— смущенно начал Гаврилеску.— Заговорился и забыл. У меня были дела в городе, поэтому я не мог зайти раньше.

— Не понимаю. Какой портфель?

— Если она уже обедает, вы ее не беспокойте,— торопливо продолжал Гаврилеску.— Я знаю, где его оставил. Около рояля.

И он попытался войти, но женщина не двинулась с порога.

— Вы к кому?

— К госпоже Войтинович. Я Гаврилеску, учу Отилию музыке. Не имел удовольствия с вами встречаться,— добавил он вежливо.

— Не туда попали,— сказала женщина.— Это дом восемнадцать.

— Разрешите,— снова начал Гаврилеску улыбаясь.— Я эту квартиру за пять лет изучил досконально. Можно сказать, я здесь свой. Прихожу три раза в неделю.

Юноша слушал, прислонившись к стенке.

— Как, вы говорите, ее зовут? — переспросил он.

— Госпожа Войтинович. Тетушка Отилии, Отилии Панделе...

— Она здесь не живет,— перебил его юноша.— Здесь живем мы, семья Джорджеску. Перед вами жена моего отца. Урожденная Петреску...

— Прошу тебя соблюдать приличия,— вступила женщина.— И не приводить с собой разных типов...

Она повернулась и исчезла в коридоре.

— Вы уж извините ее за эту сцену.— Юноша криво улыбнулся.— Она — третья жена моего отца. На ее плечи легли все ошибки его предшествующих женитьб. Пять мальчиков и девочка.

Гаврилеску взволнованно обмахивался шляпой.

— Сожалею,— начал он.— Искренне сожалею. Я не хотел огорчить ее. Что и говорить, час весьма неподходящий. Обеденный час. Но понимаете, завтра утром у меня урок на Спировой Горе. Портфель мне нужен. Там этюды Черни, вторая и третья тетради. Там мои партитуры, мои собственные интерпретации записаны на полях. Поэтому я всегда ношу портфель с собой.

Юноша смотрел на него с улыбкой.

— Мне кажется, вы меня не поняли,— прервал он Гаврилеску.— Я уже объяснял вам, что здесь живем мы, семья Джорджеску. Живем четыре года.

— Не может быть! — воскликнул Гаврилеску.— Я был здесь всего несколько часов назад, давал урок Отилии с девяти до трех. Потом беседовал с госпожой Войтинович.

— На улице Поповн восемнадцать, на втором этаже? — удивленно переспросил юноша и весело улыбнулся.

— Вот именно. Я прекрасно знаю этот дом. Могу сказать вам, где стоит рояль. Доведу вас туда с закрытыми глазами. Он в гостиной у окна.

— У нас нет рояля,— сказал юноша.— Поднимитесь этажом выше. Хотя могу вас заверить, что на третьем этаже Отилия тоже не живет. Там живет семья капитана Замфира. Поднимитесь на четвертый. Мне очень жаль,— прибавил он, видя, что Гаврилеску слушает его испуганно, все быстрее обмахиваясь шляпой.— Я был бы очень рад, если бы эта семья Отилии жила в нашем доме...

Гаврилеску глядел на него в нерешительности.

— Благодарю вас,— сказал он помолчав.— Попытаю счастья на четвертом этаже, хотя даю вам слово, что сегодня еще в начале четвертого был здесь.— Он показал на коридор.

Подниматься вверх было трудно. На четвертом этаже он долго утирал лицо платком, прежде чем позвонить. Кто-то засеменил по коридору, дверь отворилась, перед ним стоял мальчик лет пяти-шести.

— Ах,— воскликнул Гаврилеску,— боюсь, что я ошибся. Мне нужна госпожа Войтинович...

В дверях появилась улыбающаяся молодая женщина:

— Госпожа Войтинович жила на втором этаже, но больше не живет, она уехала в провинцию.

— И давно?

— О да, давненько. Осенью будет уж восемь лет. Сразу после свадьбы Отилии.

Гаврилеску потер лоб, посмотрел на женщину и улыбнулся со всей возможной кротостью.

— Полагаю, вы что-то перепутали. Я говорю об Отилии Панделе, внучке госпожи Войтинович, она учится в шестом классе лицея.

— Я обеих хорошо знала,— произнесла женщина.— Когда мы сюда переехали, Отилия только что обручилась, знаете, вначале была эта история с майором. Госпожа Войтинович не давала своего согласия на брак и была права: слишком велика была разница в возрасте. Отилия была дитя, ей не исполнилось и девятнадцати лет. К счастью, она встретила Фрынку, инженера Фрынку,— не может быть, чтобы вы о нем не слышали.

— Инженер Фрынку? — повторил Гаврилеску.— Фрынку?

— Да, изобретатель. В газетах писали...

— Изобретатель Фрынку,— мечтательно повторил Гаврилеску.— Любопытно...

Он протянул руку, погладил по голове мальчика и, слегка поклонившись, сказал:

— Прошу прощения. Видно, я перепутал этаж.

Юноша ждал его внизу; он курил у двери своей квартиры.

— Выяснили что-нибудь?

— Госпожа, живущая наверху, полагает, что Отилия вышла замуж, но, уверяю вас, это ошибка. Отилии нет и семнадцати, она учится в шестом классе лицея. Я разговаривал с госпожой Войтинович, мы обсуждали самые разные темы, но она ни словом не обмолвилась...

— Любопытно...

— Даже весьма,— осмелев, сказал Гаврилеску.— Потому я и говорю вам, что ничему не верю. Даю вам честное слово. Но в конце концов, зачем настаивать? В сущности, это недоразумение... Приду еще раз завтра утром...

И, попрощавшись, стал решительно спускаться.

«Держись, Гаврилеску,— прошептал он, выйдя на улицу,— ты впадаешь в маразм, стал терять память. Путаешь адреса...» Увидел трамвай и ускорил шаг. Только усевшись у открытого окна, он почувствовал легкое дуновение ветра.

— Наконец-то,— обратился он к женщине, сидевшей напротив.— Будто, будто...— но почувствовал, что не может закончить фразу и растерянно улыбнулся.— Да,— продолжал он помолчав,— я недавно сказал приятелю... будто... будто побывал в Аравийской пустыне. Полковник Лоуренс, если вы о нем слышали...

Женщина продолжала смотреть в окно...

— Теперь через час-другой наступит ночь. Темнота, я хочу сказать, ночная прохлада. Наконец-то... Можно будет вздохнуть.

Кондуктор в ожидании глядел на него, и Гаврилеску стал рыться в своих карманах.

— После полуночи сможем вздохнуть,— обратился он к кондуктору.— Что за длинный день,— прибавил он раздраженно, потому что не мог найти бумажник.— Сколько перипетий!.. Ах, наконец-то!— И он протянул кондуктору банкноту.

— Эта уже не годится,— сказал кондуктор, возвращая купюру.— Обменяйте в банке...

— Почему? — недоумевал Гаврилеску, вертя банкноту в руках.

— Изъята из обращения год назад. Обменяйте ее в банке.

— Любопытно! — произнес Гаврилеску, внимательно разглядывая купюру.— Сегодня утром годилась. И цыганки берут. У меня были еще три таких, и цыганки взяли.

Женщина побледнела, раздраженно вскочила с места и пересела на другой конец трамвая.

— Не надо было говорить о цыганках при даме,— укорил его кондуктор.

— Все говорят! — возразил Гаврилеску.— Я три раза в неделю езжу этим трамваем и даю вам честное слово...

— Да, это правда,— вмешался какой-то пассажир.— Мы все говорим, но не при дамах. Надо сохранять благоразумие. В особенности сейчас, когда цыганки собрались устраивать иллюминацию. Да-да, и муниципалитет дал разрешение: они устроят в своем саду иллюминацию. Я, могу вам сказать, человек без предрассудков, но иллюминация у цыганок — это вызов!..

— Любопытно,— произнес Гаврилеску.— Я ничего не слышал.

— Пишут во всех газетах,— вмешался в разговор другой пассажир.— Какой позор! — воскликнул он громким голосом.— Безобразие!

Несколько человек обернулись, и под их возмущенными взглядами Гаврилеску потупился.

— Поищите, может, у вас есть другие купюры,— сказал кондуктор.— Если нет, придется вам выйти на следующей остановке.

Гаврилеску покраснел и, не решаясь поднять глаза, стал шарить по карманам. К счастью, кошелек с мелочью оказался поблизости, среди многочисленных платков. Отсчитав несколько монет, он протянул их кондуктору.

— Вы дали мне всего пять лей,— сказал кондуктор, указывая на свою ладонь.

— До Почтовой таможни.

— Не важно докуда, билет стоит десять лей. На каком свете вы живете? — сурово произнес кондуктор.

— Я живу в Бухаресте,— гордо ответил Гаврилеску, поднимая глаза на кондуктора.— И езжу на трамвае по три-четыре раза в день вот уже не один год и всегда платил пять лей.

Теперь весь вагон с интересом прислушивался к разговору. Несколько пассажиров пересели поближе. Кондуктор подбрасывал монеты на ладони.

— Заплатите за проезд или выходите на следующей остановке.

— Трамвай подорожал года три-четыре назад,— вставил кто-то.

— Пять лет назад,— уточнил кондуктор.

— Даю вам честное слово...— торжественно начал Гаврилеску.

— Тогда выходите на следующей остановке,— перебил его кондуктор.

— Лучше уж доплатите,— посоветовал кто-то.— До Почтовой таможни идти далеко.

Гаврилеску отыскал в кошельке пять лей и доплатил.

— Странные происходят вещи,— прошептал он, когда отошел кондуктор.— Решения принимаются за ночь, за двадцать четыре часа... Точнее за шесть. Даю вам честное слово... Но в конце концов, зачем настаивать? Это был ужасный день. И что еще серьезнее, мы не можем жить без трамвая. Я, во всяком случае, вынужден по три-четыре раза в день ездить на трамвае. Впрочем, урок музыки стоит сто лей. Вот такую купюру. Но теперь и эта купюра не годится. Надо идти менять ее в банке...

— Дайте мне,— сказал пожилой господин.— Завтра обменяю в конторе.

Он вынул из бумажника купюру и протянул ее Гаврилеску. Гаврилеску осторожно взял ее и, внимательно рассмотрев, произнес:

— Красивая. И давно она в обращении?

Пассажиры с улыбкой переглянулись.

— Года три,— промолвил один.

— Любопытно, что мне такая до сих пор не попадалась. Правда, я человек рассеянный. Артистическая натура...

Он спрятал купюру в бумажник и посмотрел в окно.

— Стемнело. Наконец-то!

И вдруг почувствовал такую усталость, такое изнеможение, что, закрыв лицо руками, зажмурился и так просидел до Почтовой таможни.

Он напрасно пытался открыть дверь ключом, потом долго жал на кнопку звонка, стучал — погромче, потише — в окна столовой, наконец, вернулся к входной двери и принялся дубасить кулаком. Вскоре в темном окне соседнего дома появилось белое пятно ночной рубахи, и хриплый голос крикнул:

— Чего скандалишь? Ты что — спятил?

— Простите,— произнес Гаврилеску.— Не знаю, что с моей женой. Она не откликается. И видно, ключ сломался, не могу войти в дом.

— А чего вам входить? Вы кто будете?

Гаврилеску подошел к окну:

— Хоть мы и соседи,— начал он,— но, кажется, я не имел удовольствия с вами встречаться. Моя фамилия Гаврилеску, и я живу здесь с женою Эльзой...

— Значит, не туда попали. Здесь живет господин Стэнеску. И его нету. Уехал на воды.

— Позвольте,— возразил Гаврилеску.— Мне очень жаль, что приходится вам перечить, однако, думаю, вы ошибаетесь. Здесь, в доме сто один, живем мы, Эльза и я. Живем четыре года.

— Господа, прекратите немедленно, спать не даете!— крикнул кто-то.— Какого черта?!

— Он притворяется, будто живет в квартире господина Стэнеску...

— Не притворяюсь! — запротестовал Гаврилеску.— Это моя квартира, и я вовсе не притворяюсь. И прежде всего хочу знать, где Эльза, что с ней случилось?

— Спросите в полиции,— сказал кто-то сверху.

Гаврилеску испуганно поднял голову:

— Почему в полиции? Что случилось? — взволнованно крикнул он.— Вы что-нибудь знаете?

— Ничего я не знаю, я хочу спать. И если вы затеяли разговор на всю ночь...

— Позвольте,— произнес Гаврилеску,— мне тоже хочется спать, я, можно сказать, очень устал... У меня был ужасный день. Жара, как в Аравийской пустыне. Но я не понимаю, что случилось с Эльзой. Почему она не отвечает? Может, ей стало дурно, она потеряла сознание.

И, повернувшись к двери квартиры номер сто один, он забарабанил кулаком что было силы.

— Послушай, я же сказал тебе, что никого нет дома. Гэсподин Стэнеску уехал на воды.

— Вызовите полицию! — закричал пронзительный женский голос.— Немедленно вызовите полицию!

Гаврилеску перестал барабанить и, тяжело дыша, прислонился к двери. Только сейчас он почувствовал, что ноги не держат его, и сел на ступеньку, обхватив руками голову. «Крепись, Гаврилеску,— шептал он,— случилось что-то очень серьезное, и они не хотят тебе сказать. Крепись, попытайся вспомнить...»

— Мадам Трандафир! — закричал он вдруг.— Как же я сразу не подумал! Мадам Трандафир! — крикнул он, встал и направился к дому напротив.— Мадам Трандафир!..

Кто-то сверху сказал уже более мирно:

— Оставьте ее в покое, беднягу...

— Но это срочно!

— Оставьте ее в покое. Господи, прости ее, грешную, она давно умерла!

— Не может быть! — крикнул Гаврилеску.— Я с ней говорил сегодня утром.

— Должно быть, вы путаете ее с сестрой, Екатериной. Мадам Трандафир умерла пять лет назад.

На мгновение Гаврилеску замер, потом сунул руки в карманы, вытащил несколько платков и, наконец, прошептал:

— Любопытно.

Он медленно поднялся на три ступени к квартире сто один, взял свою шляпу и надел ее. Подергал еще раз ручку двери, повернулся и нетвердыми шагами побрел прочь. Он шел медленно, ни о чем не думая, машинально утираясь платками. Корчма на углу была еще открыта, и, послонявшись вокруг, он решил зайти.

— Можем дать вам только стакан вина,— сказал мальчик-официант.— Мы в два закрываемся.

— В два? — удивился Гаврилеску.— А сколько сейчас?

— Два. Даже больше...

— Ужасно поздно,— прошептал себе под нос Гаврилеску и подошел к стойке.

Лицо хозяина показалось ему знакомым.

— Вы не господин Костикэ? — спросил он с бьющимся сердцем.

— Да,— ответил хозяин, разглядывая Гаврилеску. И, помолчав, заметил: — Будто и я вас знаю.

— Будто, будто...— произнес Гаврилеску и растерянно улыбнулся.— Я давно отсюда,— продолжал он.— У меня здесь были друзья. Мадам Трандафир.

— Да, господи, прости ее, грешную...

— Мадам Эльза Гаврилеску.

— Ах, и с ней тоже что-то случилось,— прервал его корчмарь,— а что — до сего дня никто толком не знает. Полиция искала ее мужа несколько месяцев, но так и не нашла, ни живого, ни мертвого... Точно сквозь землю провалился... Бедная мадам Эльза ждала его, ждала, а

потом уехала к своим в Германию. Вещи распродала и уехала. Добра у них не больно много было, жили бедно. Я и сам раздумывал, не купить ли рояль.

— Значит, она уехала в Германию,— произнес Гаврилеску мечтательно.— И давно?

— Давно. Давно. Через несколько месяцев после того, как исчез Гаврилеску. Осенью будет двенадцать лет. Даже в газетах писали...

— Интересно,— прошептал Гаврилеску и принялся обмахиваться шляпой.— А если я вам скажу... и дам честное слово, что это чистая правда: сегодня утром я разговаривал с ней. Более того: мы вместе пообедали. Могу сообщить вам даже, что ели.

— Должно быть, вернулась,— озадаченно произнес корчмарь.

— Нет, не вернулась. Она и не уезжала. Тут кроется какое-то недоразумение. Сейчас я немного устал, но завтра утром я во всем разберусь...

И, слегка поклонившись, он вышел.

Он шел медленно, держа в одной руке шляпу, в другой — платок и подолгу отдыхал на каждой скамейке. Ночь была свежая, безлунная, на улицу изливалась прохлада садов. Его догнала пролетка.

— Вам куда, барин? — спросил извозчик.

— К цыганкам,— ответил Гаврилеску.

— Тогда садитесь, за две двадцатки довезу,— предложил извозчик и остановил пролетку.

— К сожалению, у меня маловато денег. Осталось сто лей да еще какая-то мелочь. А сотню стоит вход к цыганкам.

— Побольше,— произнес извозчик и рассмеялся.— Сотни-то вам не хватит.

— Я сегодня после обеда сотню платил... Спокойной ночи,— прибавил Гаврилеску и пошел прочь.

Но извозчик поехал следом.

— Это пахнет душистый табак.— Извозчик глубоко вздохнул.— В саду господина генерала. Я потому и люблю ездить здесь ночью. Есть клиенты, нет ли, я все равно ночью здесь проезжаю. Страсть как люблю цветы.

— У тебя артистическая натура,— улыбаясь, сказал Гаврилеску.

И, приветственно подняв руку, присел отдохнуть, но извозчик, круто осадив лошадь, подъехал к скамейке. Вынул табакерку и принялся скручивать цигарку.

— Люблю цветы,— повторил он.— Лошадей в цветах. В молодости я ездил на похоронных дрогах. Вот красота! Шесть коней в черных с золотом попонах и цветы, цветы, пропасть цветов! Эх, прошла молодость, все прошло. Стал я стар и теперь вот — всего лишь ночной извозчик, да и лошадь у меня теперь одна.

Он зажег цигарку и неспешно затянулся.

— Так, стало быть, к цыганкам,— начал он снова, помолчав.

— Да, у меня к ним одно дело,— поспешил оправдаться Гаврилеску.— Я был там сегодня после обеда, и вышли всякие недоразумения.

— Ах, цыганки... — вздохнул извозчик.— Если бы не цыганки,— прибавил он, понизив голос.— Если бы не цыганки...

— Да,— сказал Гаврилеску,— все говорят.— То есть я хотел сказать — в трамвае. Все говорят о цыганках, когда трамвай проезжает мимо их сада.

Он встал со скамейки и пошел дальше; пролетка ехала рядом.

— Повернем сюда,— сказал извозчик, указывая кнутом на переулок,— так короче... Проедем мимо церкви. Там душистый табак расцвел. Правда, не такой, как у генерала, но увидите, вы не пожалеете...

— У тебя артистическая натура,— мечтательно сказал Гаврилеску.

Возле церкви они остановились, чтобы насладиться запахом цветов.

— Будто тут еще что-то, не один табак,— сказал Гаврилеску.

— Ах, каких здесь только цветов нет! Если сегодня были похороны, цветов много осталось. И теперь, к утру, все они опять запахнут... Я, когда на дрогах работал, частенько сюда приезжал. То-то была красота!..

Извозчик присвистнул лошади и пошел вслед за Гаврилеску.

— Теперь уж немного осталось,— продолжал он.— Вы чего не садитесь?

— Мне очень жаль, но у меня нет денег.

— Дадите мелочь. Садитесь...

Немного поколебавшись, Гаврилеску не без труда забрался в пролетку. Но едва пролетка тронулась, как голова его упала на подушку и он уснул.

— Да, красота была,— снова заговорил извозчик.— Церковь богатая, народ все чистый... Молодость...

Он обернулся и, увидев, что клиент спит, стал потихоньку насвистывать, лошадь пошла живее.

— Приехали! — крикнул он наконец, спрыгивая с козел.— Однако ворота закрыты...

Гаврилеску взял свою шляпу, поправил галстук и, соскочив с пролетки, принялся искать кошелек с мелочью.

— Не ищите,— сказал извозчик.— Отдадите в следующий раз. Я все равно здесь стоять буду,— прибавил он.— В этот час, если какой клиент попадется, то только здесь.

Помахав извозчику шляпой, Гаврилеску подошел к воротам, отыскал звонок и позвонил. Ворота тут же отворились, и, войдя в них, Гаврилеску направился к зарослям, за которыми прятался домик. В окошке мерцал огонек. Гаврилеску робко постучал, но никто не откликнулся, тогда он толкнул дверь и вошел. Старуха спала, положив го́лову на столик.

— Это я, Гаврилеску,— сказал он, тронув старуху за плечо.— Из-за вас у меня куча сложностей,— прибавил он, видя, что старуха смотрит на него в недоумении.

— Уже поздно,— сказала старуха, протирая глаза.— Все разошлись.

Но, разглядев его, узнала.

— Ах, это ты, музыкант. Немка еще не ушла. Она никогда не спит...

Сердце у Гаврилеску забилось, он задрожал.

— Немка? — повторил он.

— Сто лей,— сказала старуха.

Гаврилеску полез за бумажником, но руки его дрожали все сильнее, и, отыскав бумажник среди платков, он уронил его на ковер, пробормотал «простите» и с трудом наклонился.

— Немного устал. Ужасный был день...

Старуха взяла купюру, встала со стульчика, подошла к двери и с порога указала на большой дом.

— Смотри не заблудись,— сказала она.— Иди прямо по коридору и считай двери. Когда дойдешь до седьмой, постучи трижды и скажи: «Это я, меня послала старуха».

Потом, пытаясь скрыть зевок, похлопала по рту ладонью и затворила за собой дверь. Медленно, затаив дыхание, шел Гаврилеску к зданию, поблескивавшему под звездами. Поднялся по мраморным ступеням, открыл дверь и на секунду застыл в нерешительности. Перед ним был плохо освещенный коридор, и он вновь почувствовал, как отчаянно заколотилось сердце. Он шел, вслух считая двери. И вдруг, поняв, что произносит: «Тринадцать, четырнадцать...» в замешательстве остановился. «Гаврилеску,— прошептал он,— держись, ты опять перепутал. Не тринадцать, не четырнадцать, а семь. Старуха сказала: отсчитай до седьмой двери»...

Он хотел вернуться и начать счет сначала, но через несколько шагов почувствовал такую усталость, что остановился у первой же двери, три раза постучал и вошел. Это была ничем не примечательная большая гостиная, обставленная почти бедно, а у окна, в полуоборот к нему, сидела молодая женщина и смотрела в сад.

— Простите,— с трудом вымолвил Гаврилеску.— Я не туда попал.

Тень женщины отделилась от окна и неслышно двинулась к нему навстречу, и тут в памяти возник забытый запах.

— Хильдегард! — воскликнул он, выпуская из рук шляпу.

— Как долго я тебя ждала,— сказала, приближаясь, девушка.— Я искала тебя повсюду...

— Я был в пивной,— прошептал Гаврилеску.— Если бы я не пошел с ней в пивную, ничего бы не случилось. Или если бы у меня было немного денег... Но денег не было, и заплатила она, Эльза, и, понимаешь, я почувствовал, что должен... а теперь уже поздно, ведь правда? Очень поздно...

— Какое это может иметь значение? — сказала девушка.— Пойдем же...

— Но у меня нет больше дома, у меня ничего нет. Это был ужасный день... Я заговорился с мадам Войтинович и забыл портфель с партитурами...

— Ты всегда был рассеянный,— прервала его Хильдегард.— Пойдем...

— Но куда? Куда? — силился крикнуть Гаврилеску.— В мой дом кто-то вселился, я забыл фамилию, но кто-то незнакомый... Да его и нет, не с кем объясниться. Он уехал на воды.

— Иди за мной,— сказала девушка и, взяв его за руку, потянула в коридор.

— Но у меня и денег нет,— шепотом продолжал Гаврилеску.— Как раз сейчас, когда переменили купюры и подорожал трамвай...

— Ты все такой же,— сказала девушка и засмеялась.— Испугался...

— И никого из знакомых не осталось,— продолжал шептать Гаврилеску.— Все на водах. И мадам Войтинович — у нее я мог бы занять,— говорят, уехала в провинцию. Ах, моя шляпа! — воскликнул он и собрался вернуться.

— Оставь ее,— сказала девушка.— Она тебе больше не понадобится.

— Как знать, как знать.— И Гаврилеску попытался высвободить руку.— Это очень хорошая шляпа и почти новая.

— Правда? — удивилась девушка.— Ты все еще не понимаешь? Не понимаешь, что с тобой случилось недавно, совсем недавно? Ты правда не понимаешь?

Гаврилеску глубоко заглянул в глаза девушки и вздохнул.

— Я как-то устал,— сказал он,— извини меня. Такой ужасный был день... Но сейчас будто мне становится лучше...

Девушка тихонько тянула его за собой. Они пересекли двор и вышли в открытые ворота. Извозчик дремал на козлах, девушка так же легонько потянула Гаврилеску в пролетку.

— Но клянусь тебе,— зашептал Гаврилеску,— даю тебе честное слово, у меня нет ни единой монеты...

— Куда прикажете, барышня? — спросил извозчик.— И как желаете — шагом или рысью?

— Езжай к лесу дорогой, какая длиннее,— сказала девушка.— Да помедленней. Мы не спешим...

— Эй, молодые! — крикнул извозчик и присвистнул.

Она по-прежнему держала его руку в своих руках, только откинулась на подушку и глядела в небо. Гаврилеску, не сводя глаз, внимательно ее разглядывал.

— Хильдегард,— произнес он наконец,— со мной что-то случилось, даже не знаю что. Если б я не слышал твоего разговора с извозчиком, то решил бы, что это сон.

Девушка с улыбкой повернулась к нему.

— Все мы грезим. Так начинается. Точно во сне...

Париж, июнь 1959 года

## Время и возвращение

**Мирча Элиаде (1907—1986) — один из замечательных и до сих пор недооценен-ных нами наших современников. Исследователь мифов и легенд, М. Элиаде сам стал легендой и мифом. Начав свои литературные и научные занятия в Румынии, у себя на родине, язык которой оставался до самой смерти Элиаде средством его художественной прозы, он еще в молодости проводит несколько лет в Индии, изучая практику и теорию йоги. Хотя после не очень долгого второго периода жизни в Румынии (до начала второй мировой войны) Элиаде в последующие годы живет и преподает в Западной Европе (до 1956 г.) и в США (до самой смерти), его восточноевропейское происхождение и ранний восточный (индийский) опыт наложили неизгладимый отпечаток на все им написанное. Его многочисленные книги по истории религии так и не стали академическими исследованиями, в них всегда сохранялась нетрадиционная для ученого живость посвященного, самого в юности пережившего как личное событие встречу с одной из древнейших религий Востока. Его проза, с примечательным образцом которой знакомится читатель, продолжает круг тем, по-иному развиваемых Элиаде — исследователем мифов.**

**Одна из главных среди этих тем — время. Для Элиаде она переплетена с идеей циклического вечного возвращения. Русский читатель может познакомиться со взглядами Элиаде по этим проблемам, прочитав сборник его эссе, изданный у нас в переводе сразу после его смерти (Элиаде М. Космос и история. М., «Прогресс», 1987). Для Элиаде время существует в разных формах, включая и такие, как циклическое время повторяющегося священного праздника (например, новогоднего); время сопряжено с судьбой народа, страны и отдельной личности. Мы переходим от мифа к истории и от истории к мифу. Память мифологическая связывается с индивидуальной и общей — исторической.**

**Все эти проблемы объединяют художественную прозу, писавшуюся Элиаде на румынском языке, не только с его французскими и английскими книгами и статьями по сравнительной мифологии. Проблема времени чрезвычайно важна для всей культуры XX века. Вокруг нее причудливо переплетаются, как и в жизни и творчестве Элиаде, течения современной науки, мистики, литературы. Из незаслуженно забытых русских авторов, которые, как и Элиаде, могли бы послужить примером подобного переплетения, назову П. Д. Успенского — плодовитого писателя, перу которого принадлежали до первой мировой войны и полупопулярные книги о четвертом измерении, и киносценарии, где уже видны были опыты нового обращения со временем. По признанию Дж. Б. Пристли, подобные опыты в его пьесах (например, «Время и семья Конвей») были подсказаны книгой «Новая модель Вселенной» П. Д. Успенского (в эмиграции издавшего ее по-английски). Читая в архивах библиотеки Йельского университета в США сохранившиеся там материалы, касающиеся жизни Успенского и Гурджиева в эмиграции, я был поражен тем, как много в литературной жизни Лондона и Парижа между двумя войнами было сопряжено с их влияниями.**

**Элиаде принадлежал к той же литературной и научной среде, разделяя ее вкусы и увлечения. Но если в названной пьесе Пристли, как и в известной комедии Булгакова об Иване Васильевиче, персонажи свободно переносятся из одного времени в другое, то в публикуемой новелле М. Элиаде его герой, преподаватель музыки Гаврилеску, совершает путешествие в прошлое (к своей утраченной первой любви) таким образом, что возвращается в обычную жизнь с опозданием на несколько лет. Отчасти похожие эксперименты со временем есть уже у романтиков, в частности в «Рип Ван Винкле» Вашингтона Ирвинга. Но Элиаде не только помещает своего героя на время вне жизни. Он заставляет его остро пережить на своем собственном примере проблему тех возможностей, которые в жизни могут не сбыться. Элиаде эта проблема возможных миров, все более занимающая философов, математиков, логиков, физиков в наш век, чрезвычайно волновала. Герой выпадает не только из времени, но и из своей осуществившейся было жизни с тем, чтобы начать реализацию как будто раньше им упущенных возможностей. Установка на возможности, пожалуй, роднит Элиаде из больших писателей нашего века с Музилем. Но по своей стилистике он принадлежит к тому направлению фантастического реализма, которое объединяет многих лучших писателей XX столетия (Платонова, Булгакова, Хармса) с Кафкой и лучшими латиноамериканскими романистами (прежде всего с Льосой, который в последних своих романах строит возможные миры применительно не к людям, а странам и их истории). Как и другим писателям этого направле-**

ния, бытовые детали, осязательные подробности (такие, как запахи орехов или цветов) нужны Элиаде для достоверности восприятия его фантазии.

Самому Элиаде казалось, что его художественная проза лишь косвенно связана с его научными сочинениями. Он был прав в том отношении, что не сравнительная мифология, а собственный житейский и духовный опыт, символика собственного воображения подсказывали ему конкретные художественные образы. Но темы — и прежде всего основная: время — его рассказов и научных книг едины, а темой времени подсказаны и особенности композиции новеллы «У цыганок».

По мере изучения и перевода литературного наследия М. Элиаде к нему должно прийти признание и как к писателю (об этом мечтает румынский критик М. Калинеску, считавший подобное признание неизбежным). Вместе с тем станут понятнее внутренние связи его художественного творчества с научным. Как писатель он уподобился герою своего рассказа: десятилетия о нем как о литераторе почти не знали. В эпоху, когда мы расстаемся с забвением, пришла пора прочитать и Мирчу Элиаде, не только как ученого, но и как одаренного писателя.

ВЯЧ. В. ИВАНОВ

■